



Леонид Бежин

АНТОН ЧЕХОВ.
Хождение
на каторжный
остров

Леонид Евгеньевич Бежин Антон Чехов. Хождение на каторжный остров

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=9598888

Антон Чехов: Хождение на каторжный остров. / Бежин Л. Е.: Этерна;

Москва; 2013

ISBN 978-5-480-00311-6

Аннотация

У каждого русского писателя своя тайна, иногда мистическая, запредельная, иногда – бытийственная, экзистенциальная. Есть своя тайна и у Чехова. В тридцать лет – на Сахалин, каторжный остров, в распутицу, по бездорожью, иногда по пояс в воде, с риском погибнуть, утонуть в сибирских расах, никогда не вернуться. Почему? Можно дать сто ответов на этот вопрос, и ни один из них не будет окончательным. Поэтому писатель Леонид Бежин ищет свой – сто первый – ответ. Ему удалось проехать на Сахалин по следам Чехова, увидеть все то, что видел он, соприкоснуться, приобщиться. Это, наверное, и позволило ему приблизиться, насколько это возможно, к вечно ускользающему – сто первому – ответу.

Содержание

Часть первая	5
Глава первая	5
Глава вторая	14
Глава третья	20
Глава четвертая	26
Глава пятая	31
Глава шестая	38
Конец ознакомительного фрагмента.	39

Леонид Бежин

Антон Чехов. Хождение на каторжный остров

«Последнее время часто мечтал вслух: – Стать бы бродягой, странником, ходить по святым местам, поселиться в монастыре среди леса, у озера, сидеть летним вечером на лавочке возле монастырских ворот...»

И.А. Бунин. О Чехове

«Нужно верить в Бога, а если веры нет, то не занимать ее места шумихой, а искать, искать, искать одиноко, один на один со своею совестью...»

А.П. Чехов, из письма В.С. Миролюбову

Часть первая

Глава первая Русский писатель как тайна и парадокс



В жизни каждого русского писателя (об английских, немецких, французских судить не берусь) – было... Было даже в том случае, если писатель не первого ряда, не классик, не Гоголь – гоголек, как говаривал поэт, пересказывая слухи о смерти Андрея Белого:

Вы слышали, какой-то Гоголь умер?
Не Гоголь – так себе писатель, гоголек.

По отношению к самому Андрею Белому, создавшему «Петербург», один из величайших романов двадцатого века, такое уничижительное прозвище вряд ли справедливо (слухи есть слухи), а вот о множестве его безымянных подражателей мы вправе сказать: гогольки, истинные гогольки. И по гонору, и по самомнению, и по амбициям, и даже по тому, как они небрежно сбрасывают пальто на руки услужливому гардеробщику писательского клуба и демонстративно забывают взять номерок, зная, что и без номерка оно не пропадет, не затеряется, а будет подано с подчеркнутым почтением и предупредительностью: «Извольте-с».

В жизни Белого было всякое – и заумные лекции, и модные фокстроты, и антропософия, и дружба с Рудольфом Штайнером, и строительство Гетенаума, и нас это, пожалуй, не удивляет, не кажется странным: все-таки личность, фигура, признанное имя. Но удивительно и странно то, что и у его безымянных подражателей – если покопаться в их биографиях, присмотреться к ним пристально, с изучающим вниманием, – тоже было. Причем такое, что подчас диву даешься и думаешь, испытывая невольное уважение к тому, кто недавно казался шантрапой, мелюзгой затрапезной и не воспринимался всерьез: какой-никакой, а все ж писатель...

Не случайно Иван Бездомный у Булгакова, один из мно-

гих завсегдатаев Грибоедова, повстречавшись на Патриарших прудах с Воландом, а в сумасшедшем доме – с Мастером, пережив смерть Берлиоза, зарезанного трамваем, испытывает такое потрясение, что бросает писать стихи и становится историком.

Но даже если наш писатель по натуре своей не из тех, с кем бывает... Если он провел жизнь в тиши обитого дубом кабинета, за письменным столом с врезом зеленого сукна, бронзовой чернильницей и малахитовой лампой, окруженный любящими близкими, заботливыми женами (как правило, их несколько – прежние, но не забытые и нынешняя), преданными учениками и друзьями.

Даже если и так – было и с ним. И тому есть немало парадоксальных и при этом убедительных примеров.

И – по некоей извечной исконно русской закономерности – чем парадоксальнее, тем оно выходит даже на редкость вразумительно, доходчиво и в конечном итоге столь убедительно...

Вот один из таких примеров: писатель из числа тех, с кем, казалось бы, не бывает и быть не может.

Благоразумного вида, похожий на счетовода, гладко причесанный, круглые очки на носу, в быту неукоснительный педант. Выдавая жене деньги на покупки, мягко, но настойчиво требует от нее бережливости, внушительно выговаривает за мнимую расточительность, склонность бездумно сорить деньгами – так что она, бедная (какое там сорить!),

боится лишнюю копейку потратить. Совестьется, по десять раз пересчитывает, прикидывает. Достает и снова прячет под салфетку на буфете (нет, ненадежно), под вазочку, под часы, лишь бы опять не провиниться, не рассердить его, не заслужить новый упрек...

Столь же требователен он к порядку: каждая вещь должна стоять на своем месте. И ни пылинки, ни паутинки – особенно на письменном столе. Письменный стол и каждая вещица, каждая безделушка на нем, чернильница, стопка бумаги для него – святыня, жертвенник, алтарь. Поэтому пыль и беспорядок ему физически неприятны, вызывают в нем беспокойство, маету, тревогу. Может быть, даже нечто вроде идиосинкразии. Извольте с этим считаться и не испытывать его терпение. Человек он мягкий, деликатный и покладистый, а если бывает строг, то лишь по необходимости, потому что жизнь научила.

Однажды он... гм... сфотографировался в пижаме.

Да, полосатой пижаме по моде пятидесятых годов – этакий дачник, любитель спелого, вызревшего до золотистой желтизны крыжовника, черной смородины и малины, заядлый грибник (сыроежки не берет – только белые и подберезовики) и собиратель шишек для самовара. Любит окрошку с деревенским квасом и сметаной. Качается в гамаке после обеда, слегка отталкиваясь ногами и заслоняясь от солнца раскрытой книгой. Случается, что и вздремнет, сладко посапывая, иногда всхрапывая.

Вечерами пьет чай на балконе, накладывая в блюдечко вишневое варенье и отодвигая к краешку случайно попавшую косточку.

Дачник, да и только...

И не скажешь, что было с ним когда-то такое, от чего становится не по себе, жуть берет, дыхание перехватывает и по ночам кошмары снятся: колючая проволока, сторожевые вышки, бараки с нарами для заключенных, обыски, построения, переклички и зычный голос старшины: «Я тебе покажу! Будешь у меня стихи писать!»

Словом, испытал, хлебнул лиха, износил до дыр свои железные сапоги...

А другой, живший чуть раньше – честный, правдивый, принципиальный, снискавший восторженную любовь молодежи за бичевание пороков власти, несправедливости, призывы служить народу, – бросился вниз головой в пролет лестницы. Вскрикнули, подбежали, а он распластался на полу. Бездыханный, с запрокинутой головой, помутневшим взором и кривой улыбкой на губах...

«А лестница ужасная. Я ее видел: темная, грязная...» (Чехов, из письма).

Третий, брат известного писателя-народника, сам писатель сходного направления, тоже покончил с собой – «зарезался», как о нем говорили. А до этого нищенствовал, бродяжничал, балагурил, куролесил, водил с собой маленькую дочь, наряженную в мужской костюм, играл на гармонике и

напевал «самым развеселым образом»:

Любила я тульских,
Любила «калуцких», —
Елецкого полюбила —
Сама себя загубила...

Кабатчик о нем рассказывал:

– Известно – бродяга был. Чудной какой-то. Он, может, там и ученый был, только мы этому не верили. Какое же, к примеру, ученье, когда шлялся нищевродом? Раз пришел ко мне. Мы с женой сидим, чай пьем. «Дай, пожалуйста, чайку стаканчик». – «Нету, говорю, весь уж выпили». – «Ну, хоть стаканчик!»

«Да нету же. – Зло меня даже взяло. – Не заваривать же для тебя».

«Ну, хоть теплой водицы из самовара; дай, ради бога – душа пересохла».

«Это, говорю, дело другое. Авось не жалко. Налил ему стакан воды. Так, поверите, затрясся, – глотает, обжигается. Потом говорит: «Дай водочки». – «Да у меня не кабак». – «Да ведь знаю, говорит, торгуешь». – «Ну, а знаешь – деньги давай». – «Денег нету». – «Ну, и водки нету». – «Так возьми, говорит, что-нибудь». – «А что у тебя?» – «Возьми штаны». Поглядел я штаны эти, а там вместо штанов опоясья одни остались. На кой они мне черт. «Ну, возьми гармонию. Я потом выкуплю». Дал я ему за гармонию четверть. Он тут же

всю ее с мужиками и выпил (записано Буниным).

Четвертый, осужденный как заговорщик, с завязанными глазами ждал казни на эшафоте. Ждал *расстреляния*, как было сказано в зачитанном приговоре. И вдруг – сквозь морок и туман предсмертного забытья – услышал о помиловании. Сразу-то, наверное, и не поверил: не ошибка ли, не оговорка? Замер, притих, испугался, а потом возликовал, обрадовался и даже прослезился.

Вместо исчезновения всего, провала в бездну – жизнь!

Казнь заменили каторгой с последующей службой рядовым. Все выдержал, выстоял, преодолел, превозмог – и кандалы, и арестантскую баланду. Вернувшись в Петербург, снова стал писать с лихорадочным, неиссякаемым вдохновением и создал книги, прославившие его на весь мир.

Пятый, уже упомянутый нами автор стихов на смерть Белого, сочинил неслыханно (по тем временам) дерзкую эпиграмму. Понятно на кого. И вместо того чтобы спрятать в стол, похоронить под бумагами или сжечь, стал ее всем нарочно, даже с некоей назойливостью зачитывать. От него шарахались, но он не унимался. Из-за чего? Из-за подспудной жажды страдания. Может быть, даже еврейского страдания, которого он, русский поэт, в силу жизненных обстоятельств до поры до времени избегал, а теперь решил принять.

В конце концов был арестован, отправлен в лагеря, где читал у костра Петрарку уголовникам (во всяком случае, таково предание), и погиб, сгинул, бесследно исчез.

А ведь думал жизнь просвистать щеглом.

Словом, было...

И если прав Максимилиан Волошин, написавший: «Темен жребий русского поэта», то эта непроницаемая тьма застигает многие и многие биографии, и Пушкина, и Лермонтова, и Тютчева, и Блока, и Маяковского, и Есенина.

И пожалуй, не надо сразу уточнять и конкретизировать (хоть я отчасти и поддался этому соблазну), что именно было, где, когда и как, по каким причинам и к каким результатам привело. Лучше в самой неопределенности этой фразы постараться распознать те оттенки смысла, которые сразу исчезнут – улетучатся без следа, – стоит ее исправить, неосторожно отредактировать, что-то к ней для ясности добавить.

«Гоголь обратился в христианство, потому что чувствовал неудовлетворение жизнью тогдашней николаевской России, отчетливо видел ее темные стороны, испытывал жажду положительного идеала, стремился к правде человеческих отношений и нигде не мог обрести ее». Редактору такая фраза, возможно, и понравится, он одобрительно закивает, поставит на полях рукописи птичку, галочку или даже восклицательный знак, но автор, томимый неудовлетворенностью, раздосадованный, обиженный на всех и самого себя, в конце концов ее мстительно вычеркнет.

Нет, Гоголь обратился.

«Толстой ушел из Ясной Поляны, оттого что для него стала невыносимой докучная слава литературной знамени-

тости, получаемые гонорары, жизнь в родовой дворянской усадьбе со слугами и дворовыми, сложившаяся там обстановка вечной слежки за ним, чтение его дневников и писем». И эту так же вычеркнет.

Нет, Толстой ушел.

«Чехов уехал на Сахалин для того, чтобы воочию увидеть жизнь заключенных, их муки и страдания, привлечь внимание передового общества к каторжному острову, заставить задуматься о его судьбе, пробудить в людях сочувствие и жалость».

Нет, Чехов уехал.

Глава вторая

По камушкам, по досточкам

... Почему же все-таки он поехал?

Ведь не надо быть слишком мнительным и суеверным, чтобы допустить до смешного простую («насмешливое мое счастье») и убийственно ясную мысль о том, что он может и не вернуться. Такая вот трогательная мелодрама, такой до чертиков забавный водевиль. Мо-жет. Мо-жет (постукивание карандашом по столу). Не услышать больше, как по мокрой от дождя Садовой с шумом, смехом, веселыми возгласами валит праздничная, разодетая толпа. Как грохочут нагруженные доверху подводы ломовиков с выглядывающими из-под рогожи полосатыми спинками диванов и выгнутыми ножками кресел, гремит по рельсам конка и мягко шуршат шины рессорных экипажей.

А с Патриарших прудов в это время доносятся крики расшалившихся детей, которых напрасно пытаются уговорить их няни и гувернантки, одни по-русски, другие – по-французски. Третьи, может быть, и по-английски, но таких меньше, каждая из них – редкость, диковинка, истинная дочь Альбиона.

Звонят к обедне в церкви Вознесения у Никитских ворот, где венчались смуглый, курчавый, маленького роста правнук Ганнибала и статная, высокая Наталья Гончарова, поселив-

шиеся затем здесь же, рядом, на Арбате. Воркуют на церковных карнизах голуби и гнусавят нищие, протягивая свои обмотанные тряпьем культяпки, выпрашивая милостыню: «Подайте христа-а-а-ди!»

Кто-нибудь да подаст, копеечку в кружку бросит: москвичи народ сердобольный.

Может не увидеть (водевиль продолжается) родных, домочадцев, друзей, знакомых, завсегда таев их гостеприимного дома. И среди них – вечно слоняющихся по дому (каждая непременно поднимет крышку пианино и потренькает на клавишах) подруг своей любимой, столь преданной ему Ма-Па, сестры Марии Павловны. Не сомлеть от восторга, лицезря зачавившую к ним последнее время Лику Мизинову, не осыпать ее комплиментами, «адски красивую» (хотя и немного полноватую), взбалмошную и непредсказуемую, со всплесками самых разных, противоречивых настроений – от томной мечтательности, меланхолии, беспросветной хандры до наигранной веселости и напускной жизнерадостности.

Иногда же Мадемуазель Жамэ (так зовет ее Чехов) бывает откровенно бестактна и даже груба, наслаждаясь своей распушенностью, явно кому-то подражая (да не кому-то, а Кувшинниковой, любовнице Левитана, хозяйке модного салона), считая, что это сближает, что так принято, что ей это чертовски идет. Вот Чехову и приходится снисходительно переносить, терпеть и прощать. Прощать и только при этом слегка осаживать, ставить на место, стараться угомо-

нить, словно терпеливая няня непослушного, вздорного и капризного ребенка.

По-русски, по-русски – не по-армянски же, хотя не отказывает себе в удовольствии величать ее на армянский манер Тер-Мизиновой.

Мадемуазель Жамэ, она же Лидия Стахиевна, барышня со столь редким отчеством.

Что ж, перекрестит его на дороге, коснется губами лба, всплакнет, пригорюнится (разнюнится), батистовым платочком вытрет слезы. После слов ласки и любви прошипит что-нибудь нарочито злое, непременно ужалит, оттолкнет от себя, упершись крепко сжатыми маленькими кулачками с побелевшими косточками ему в грудь. Затем попросит с прерывистым вздохом, чтобы не забывал, не увлекался там молодыми сибирячками и не мучил долгим отсутствием, пожалел и ее и себя.

Он пообещает, даже поклянется, прогудит густым баритоном в столь свойственном ему шутиливом тоне: мол, будет рваться к ней, словно на крыльях. Но что клятвы, тем более такие шутиливые, с искорками в глазах!

Клятвы еще никого не спасали.

Вот и он, Чехов, может перевернуться в коляске на крутом повороте, переломать ребра, разбиться о камни. Может утонуть при переправе через бурные сибирские реки, умереть от воспаления легких, простудившись на ледяном, пронизывающем ветру, или другой болезни, подстерегающей неза-

дачливого путника, рискнувшего отправиться в такую гибельную, страшную даль, куда по своей воле никто не ездит. Только если гонят по этапу, закованного в кандалы...

И все-таки он отправился – за тысячи верст, на край света, откуда до Японии, Гонконга, Сингапура во много раз ближе, чем до Москвы. На остров каторжников, ссыльных и переселенцев – как частное лицо, «отдельный человек», даже без рекомендательных писем, хоть и с корреспондентским билетом «Нового времени», собственно, не дававшим ему никаких особых прав и полномочий.

К тому же с 1884 года он страдает кровохарканьем, длящимся иногда по нескольку дней.

Безумие, да и только!

Поехал в этом, подаренном ему хорошими знакомыми, длинном кожаном пальто, которому в письмах слагал хвалебные оды («Дивное пальто. Оно спасло меня от простуды»). С защитыми под подкладку ассигнациями, с дорожным сундучком, где была спрятана икона и завернут в тряпочку револьвер, приготовленный на тот случай, если по дороге нападут разбойники.

Слава богу, не напали – обошлось.

В этом смысле езда по Сибирскому тракту – вопреки всем его собственным опасениям, охам и ахам матушки и сестры – оказалась безопасной.

Но если бы?

Неужели смог бы взвести курок, выверенным движением

поднять руку до уровня глаз, хладнокровно прицелиться, выстрелить раз, другой, третий? И когда рассеется синеватый дымок, с удовлетворением убедиться, что попал, не промахнулся, что тот, в кого целился, вздрогнул, замер, словно испуганный чем-то, стал беспомощно и жалко оседать, а затем рухнул лицом в мерзлую землю?

Он-то, доктор Чехов, Антон Павлович?!

«Собрату по оружию (не огнестрельному – примечание для его начальства)» – так надписал он книгу, подаренную знакомому литератору Лазареву-Грузинскому, оставившему о нем воспоминания. Надписывая, счел нужным оговориться, что хоть тот ему и собрат, но вот оружие им досталось мирное, не огнестрельное, без курка, мушки и крутящегося барабана с патронами.

Огнестрельным же особо не владел и стрелком азартным не был. Баловался лишь подчас ружьем на охоте, да и то, когда однажды близкий приятель Исаак Левитан ранил вальдшнепа и, закрыв лицо руками, стал просить, слезно умолять его добить (тоже капризный ребенок), Чехов ужасно мучился из-за этого и страдал. И охота ему сразу стала не мила, наскучила, опротивела.

Поэтому скорее пальнул бы не в напавшего разбойника, а в воздух, а затем настойчиво уверял бы всех, сбежавшихся на выстрел, что это так... пустяки... лопнула склянка с эфиром. Или неловко размахнулся и запустил бы этим револьвером в нападавшего, как Николай Ростов во француза.

А если все же и выстрелил бы, то затем сам бы себя про-
клял, разорвал собственную рубаху на бинты, вытряхнул из
сундучка лекарства, позаботился о том, чтобы тщательно
промыть, по всем правилам продезинфицировать и потуже
перевязать рану.

В том-то и дело, что и грозный револьвер, и трогатель-
но зашитые под подкладку деньги выдают человека, больше
привыкшего к дому, чем к дороге. Истинный домосед так и
готовится к отъезду: дотошно, кропотливо, осмотрительно,
с оттенком боязни, потому что дорога для него иное состоя-
ние. Как лед для того, кто впервые – пошатываясь, спотыка-
ясь – встал на коньки. Как река для человека, не умеющего
плавать, и вот он по камушкам, по досточкам, по торчащим
из воды островкам... лишь бы не терять спасительного рав-
новесия, соприкосновения с твердой поверхностью, устой-
чивой опоры под ногами.

Глава третья

Чужая весна

По письмам видно, как постепенно овладевало Чеховым это преддорожное настроение, – особенно по письмам Суворину, во многом напоминающим дневник.

«Бывают настроения чертовские, когда хочется говорить и писать, а кроме Вас я ни с кем не переписываюсь и ни с кем долго не разговариваю. Это не значит, что Вы лучше всех моих знакомых, а значит, что я к Вам привык и что только с Вами я чувствую себя свободно», – признается он позднее, в 93-м, но то же самое мог бы сказать и в 90-м, собираясь на Сахалин. Слишком хорошо они с Сувориным друг друга знают, свыклись, попритерлись, ведь знакомы уже давно, много лет, что называется, дружат семьями, кланяются, передают приветы домочадцам. И Суворин при случае не прочь составить протекцию и родственникам Чехова, прежде всего братьям, талантливым, но без царя в голове, разбросанным, неприкаянным, вечно нуждающимся.

Алексей Сергеевич хоть и богач, магнат, удачливый делец, да и возрастом старше (для Чехова – старик, как он его называет), но – свой, поскольку тоже пишет. Литераторствует, и с большим азартом. Бойко строчит рассказы, повести (одну из них переделает вскоре в роман «Конец века. Любовь»), комедии, великолепно знает литературу, по словам

Чехова. Вынашивает планы создать свой театр – и создаст через несколько лет, пригласит известных актеров, будет ставить, и не без успеха, модные пьесы. Печатает в «Новом времени» «маленькие письма», короткие заметки на злободневные темы, умные, дельные, а главное – патриотичные, хотя патриотизм они с Чеховым исповедуют все-таки разный.

Иными словами, испытал на самом себе, какой это сладкий дурман (кокаин и морфий) и в то же время тяжкий крест – литература.

К тому же по натуре своей отзывчивый, щедрый и хлебосольный, Чехова любит и ценит, ни в чем ему не отказывает, охотно предлагает займы. Готов в любую минуту раскрыть портмоне, туго набитое ассигнациями, отсчитать и выложить на стол круглую сумму. Разумеется, без расписки (злые языки даже прозвали Антона Павловича суворинской содержанкой).

Словом, не просто приятель, а именно друг, надежный, проверенный, испытанный (если ехать за границу, то лишь с ним).

Поэтому можно не беспокоиться, что полученное от Антона Павловича письмо не так поймет, неверно воспримет, превратно истолкует и т. д.

И вот Чехов сообщает о себе между 10-м и 21 февраля из Москвы: «День-деньской я читаю и пишу, читаю и пишу... Чем больше читаю, тем сильнее убеждение, что в два месяца я не успею сделать и четверти того, что задумал, а ведь

больше двух месяцев мне нельзя сидеть на Сахалине: под-
лецы-пароходы не ждут! Работа разнообразная, но нудная...
Приходится быть и геологом, и метеорологом, и этнографом,
а к этому я не привык, и мне скучно». Позвольте, но ведь он
так рвется на Сахалин и так увлечен этой подготовительной
работой, в чем сам не раз признается. Признается и в пись-
мах, и в разговорах с домашними, прежде всего с сестрой.
Почему же эта работа вдруг кажется ему нудной? И что же
за скука его одолевает, откуда она?

Пишущего такой скукой не удивишь – в том числе и Су-
ворина. Поэтому Чехов с ним не то чтобы откровенен, а не
считает нужным ничего скрывать, утаивать или приводить
какие-то мелочные, слишком подробные объяснения. Обо-
им не в новинку: при любом увлечении работой скука все
равно неизбежна, и вдохновение, как и Царство Небесное,
нудится, выдавливается по капле.

Но у чеховской скуки есть еще один едва различимый от-
тенок: она не только от писательского ремесла, но и – от жизни.
Скука эта не простая, а с секретом, затейливым вывер-
том – экзистенциальная, как сказали бы мы сейчас. От со-
прикосновения с изнанкой жизни (подобный образ мы у Че-
хова находим – подштанники жизни). Да, снаружи – изящ-
ное вышивание разноцветными нитями, прихотливый узор,
поющий соловей и распустившаяся роза, а с изнанки – узел-
ки, концы оборванных нитей, от одного вида которых стано-
вится как-то неприятно, нехорошо, не по себе, словно перед

обмороком или припадком.

Такова, собственно, чеховская скука, преддорожное чувство.

Пожалуй, точнее всего определить ее словами экзистенциалиста Камю: «...легкое отвращение перед будущим, называемое тревогой». Отвращение – перед будущим. Почти тошнота, по Сартру.

Вот она, изнанка!

Да, не скучно, а как-то по-особому тревожно Чехову, хотя он, конечно, не позволяет себе признаться в этом. Позволит позже в письме Лидии Авиловой: «При одной мысли, что я должен уехать, у меня опускаются руки и нет охоты работать». Но сейчас – не время, поэтому – молчок. Пожаловаться, поплакать в жилетку не в его духе – тем более перед Сахалином, хотя чувство тревоги, соприкосновения с изнанкой незримо овеивает исписанные им листочки. Маячит в очертаниях букв, сквозит между строк: «Завтра весна, а через 10–15 дней прилетают жаворонки. Но увы! – наступающая весна кажется мне чужою, ибо я от нее уеду».

Признание поразительное по своей неподдельной искренности и тончайшему психологизму. Скоро прилетают жаворонки – казалось бы, как хорошо, только радуйся, бодрись и ликуй. Но весна кажется ему чужой настолько, что и не смотрел бы в окно, задернул наглухо занавески, отвернулся, ведь все равно уезжать. Значит, весна ему не принадлежит, не его это радость, а чья-то.

Ему же в последний момент, после долгих сборов и приготовления так хочется... остаться дома. Да, остаться, неподвижно сидеть в кресле, размешивать ложкой остывший чай, молчать и блаженствовать. Блаженствовать оттого, что пропал купленный билет до Ярославля, что он никуда не поехал, что, словно гоголевский жених, сбежал от невесты, выпрыгнув в окно.

Но Чехов себе этого никогда не позволит. Никогда не призовет себе чужую весну, не увезет ее, словно жену от мужа (Лидию Авилу – от ее благоверного, хотя такая сплетня о нем гуляла), не похитит. Поэтому какое уж там блаженство! Нет, вместо этого – скука и жуткое одиночество. «Чехов говорил мне, что при отъезде из дома его охватывает жуткое чувство одиночества, время на вокзале перед отъездом тянется чересчур тоскливо, и он рад, когда кто-нибудь из добрых знакомых возле него», – свидетельствует в своих воспоминаниях тот же Лазарев-Грузинский.

Да, легкое отвращение перед будущим.

У Камю оно называется тревогой, а у Чехова по-разному, но чаще всего одиночеством, скукой, тоской, равнодушием, немотой души – мало ли названий у того, кто привык обозначать словом самые смутные, зыбкие, нераспознанные чувства. И обостряется это одиночество всегда перед дорогой – тем более такой дальней, как на Сахалин. Вот уж действительно, выпали они ему, будто нагаданные цыганкой, – дальняя дорога и казенный дом.

Казенный дом или такой же казенный, тюремный, каторжный, кандалный остров Сахалин, где он тоже чужой и его не ждут.

Глава четвертая

Пригласить фотографа

Чья же это затея? Кто увлекся, даже загорелся этой сумасбродной, всех переполошившей идеей? И кто упорными трудами, бессонными ночами, бескорыстными жертвами, самоотречением заслужил право на эту невинную блажь – пригласить в дом фотографа? И не соседа-любителя, на чьих снимках вместо фигур – мутные пятна, а опытного, матерого зубра?

И кто сам отправился в дорогое ателье, где выставленный за стеклом витрины, услужливо изогнувшийся манекен, держа на отлете руки магниевую (будто бы) вспышку, другой рукой победоносно снимает крышечку с выдвинутого гармошкой объектива? Отправился, чтобы обо всем договориться, обстоятельно обсудить, задать необходимые вопросы (их целый перечень), получить удовлетворительные ответы. Строго нахмуриться вначале для придания себе солидности и внушительного вида (мол, нас не проведешь, не на тех напали) и любезно, обворожительно улыбнуться в конце. Что называется, одарить улыбкой.

Иными словами, сделать заказ.

– Желаете сфотографироваться?

– Да, но только не в студии, а дома. Вместе с близкими.

Можно?

– Почему же нет! Пожалуйста. Исполним в наилучшем виде. Ваш адрес, сударыня?

– Кудринская Садовая, дом Корнеева. – К которому часу прикажете?

– Ну, пожалуй, сразу после полудня, когда все в сборе.

– Будем вовремя. Не сомневайтесь.

– Мерси.

Думается, что это затея Ма-Па – кого же еще! Во всяком случае, без ее участия тут явно не обошлось. Даже если первоначально идея вызвать фотографа и сняться на память осенила Лику Мизинову и та возвестила об этом, блестя красивыми серыми глазами, Мария Павловна ухватила за нее и немедленно присвоила себе. Присвоила как молодая хозяйка дома, распорядительница и устроительница, имеющая неоспоримое право.

И извольте с этим считаться. Считаться и не возражать. Вот Лика и не возражала, тем более что сама *сделать заказ* вряд ли сумела...

К тому же сестра с братом оба, чего греха таить, имели такую слабость – фотографироваться, и Чехов рассказывает в одном из писем 1887 года, как они вместе ходили сниматься: «...я для того, чтобы продавать свои карточки почитателям моего таланта, а она для раздачи женихам». Это, конечно же, снова лукавое озорство, милая шутка: о женихах Мария Павловна помышляет меньше всего – уж ее-то не упрекнешь, к ней не придерешься. Всем кавалерам, ухаже-

рам, настойчивым просителям руки наотрез отказывает. И не потому, что ей не угодишь, что такая уж разборчивая и привередливая она невеста: причины тут совершенно иные, и за отказом угадывается жертва...

Да, пожертвовав личным счастьем, Мария Павловна целиком посвятила себя тихому, скромному и подвижническому служению – всей своей большой семье, родителям и братьям, и особенно – брату Антону, дипломированному врачу (окончил университет по медицинскому факультету) и подающему надежды писателю. Писателю, чьи успехи, слава, признание немного кружат ей голову; она счастлива ими и преисполнена гордости за него. Для нее это призвание – быть рядом, помогать, вникать во все заботы, охранять и оберегать (хотя бы от незваных гостей, назойливых посетителей).

И уж если раздает свои карточки, то не женихам, а подругам – таким, как та же Лика. Но раздает как бы не от себя лично, не от сознания своей значимости, не в ознаменование собственных заслуг, а по особому праву сестры Чехова – такой у нее почетный титул, придворное звание, как насмешничает брат. И это – хоть и шутовское – звание она тоже с гордостью, особым достоинством носит.

И вот родной, любимый, обожаемый, знаменитый брат уезжает – впервые так далеко и надолго. Так далеко, что дух замирает – на край света, к диким алеутам (или кто там обитает на Сахалине?). Поэтому непременно нужно сфотографироваться всем вместе – а как же иначе! Это даже ни с кем

не обсуждается.

Непременно!

Всем близким, родителям Павлу Егоровичу и Евгении Яковлевне, друзьям и домочадцам, но чтобы он, Антоша, единственный и ненаглядный, непременно был в центре. Что называется, сиял как солнце, а все прочие – вокруг него.

И она, его родная сестра, по праву главной фрейлины двора – тут же рядом, склонившись над ним, прижавшись щекой, на которой еще не высохла горячая (горючая?) слеза, или положив голову ему на плечо.

Тогда пусть он колесит по далекой Сибири, несется на лихой, бесшабашной тройке по почтовому тракту, плывет на пароходе, глядя, как пенится под лопастями колеса вода, растягивается сизый дым над рекой, и вслушиваясь в протяжный гудок. Пусть иногда забывает написать ей с дороги, она сумеет мужественно, по-чеховски перенести разлуку.

Сумеет потому, что перед ней на столе будет стоять его пресветлый лик, запечатленный образ, вставленная в овальную рамку фотография.

Так в назначенное время на Садовую пожаловал фотограф. Учтивый, галантный, с животиком, расчесанными на прямой пробор, слегка завитыми волосами, подкрученными усиками, во вздернутом полосатом пиджачке, и брюки – чуть выше щиколоток. Что-то в нем от ухоженного, сытого, откормленного кота.

И голос, приятно мурлычущий:

– Где будем сниматься?

Мария Павловна пригласила в дом, провела, показала, откинула занавески, чтобы больше было света. Но все-таки решили фотографироваться во дворе рядом с домом, на пленэре, как сказал бы кто-нибудь из знакомых художников, Левитан или брат Николай, бедный Коленька, если бы он был жив...

Мурлычущий что-то себе под нос фотограф с видом маэстро установил во дворе свою треногу, оперся о нее локтем, картинно откинулся:

– Зовите всех, сударыня!

И по лестнице корнеевского дома застучали каблуки, по комнатам зазвенел голосок Ма-Па:

– Все фотографироваться! Все спускайтесь во двор! Скорее! Мы ждем!

В ответ из-за дверей послышалось:

– Да мы же не одеты!

– Да мы не причесаны!

– Надо было предупреждать! К тому же мы сегодня не в лице.

Но все притихли, когда Мария Павловна внятно, внушительно произнесла:

– Возражения не принимаются.

Притихли потому, что поняли: их не просят, а им приказывают, даже повелевают, и не подчиниться повелению нельзя.

Глава пятая

Не успели

Потихоньку, неспешно – с ленцой да зевотой, шутками и прибаутками, но все-таки собрались. Сниззошли. Соизволили. Словно каждому надо непременно себя показать, дать почувствовать, что знает себе цену. Словно не их осчастливили возможностью сняться с Антоном, а они всех осчастливили и благодетельствовали.

– А вот и мы. Где прикажете занять позицию?

На весеннем воздухе так зябко, неуютно, пробирает легкий морозец. И они слегка дрожат от озноба, пританцовывают на месте, чтобы согреться, потирают руки, поглядывают вокруг с неприязнью людей, попавших из тепла натопленного дома в холод.

– Сюда, сюда! Несите стулья, – распоряжается Ма-Па, нахмуренная, озабоченная и немного сердитая на всех, да и на себя тоже.

Сердитая так, для порядка, на всякий случай...

Вынесли из дома несколько стульев, и, зачем-то обмахнув их платками, женщины сели – матушка Евгения Яковлевна, сама Мария Павловна, Лика Мизинова и дочь хозяина дома Мария Корнеева. Антона тоже дружно убедили, заставили сесть, чтобы он – при своем высоком росте – не заслонял других. Рядом, справа от него, скрестив ноги, пристро-

ился на низком сиденье братец Михаил Павлович. За спинами женщин встали Павел Егорович со шляпой в руке, чуть развернувшись – Иван Павлович и совсем уж боком – друг дома, незаменимый помощник во всех делах, всегда готовый угодить, уморить, заморочить, немного бестолковый, но добрый Александр Иваненко.

И получился снимок, ценность которого в том, что перед фотографом обычно застывают, цепенеют, даже деревенеют с вымученными выражениями лиц, а тут – не успели: наверное, он поторопился, слишком быстро нажал на спуск. Вернее, успела лишь Евгения Яковлевна, привыкшая фотографироваться с постным лицом, по-солдатски вытянувшись во фронт (как и *положено* на семейных снимках). Да и Павел Егорович сразу приготовился сниматься и занял позицию, как гренадер на смотре, а остальные... к счастью, что-то им помешало.

Иваненко даже шляпу держит в руке так неловко, словно только что снял ее с головы и толком не знает, куда пристроить, как от нее избавиться, чтобы не мешала, не портила кадр. И другие, похоже, еще только ждут, что фотограф даст им знак: «Внимание, господа. Снимаю».

А он без всякого знака... щелк – и готово. Никто даже толком не понял, что уже все свершилось, все произошло. Поэтому снимок не то чтобы удался по композиции, освещению и прочим критериям высокого искусства – нет, он, может быть, и неудачен, но эта неудача придает ему особую

биографическую ценность, важность и значимость. Чем пристальнее всматриваешься в него, тем больше поражаешься тому, как много говорит он обо всех, кого потом назвали окружением Чехова. Его близкие, друзья и соседи изображены на нем не приукрашенными, такими, как есть, каждый со своим характером, скрытыми мыслями, стремлениями, отношением друг к другу – тем, что называется еще не совсем привычным для тогдашних времен словом – психология.

Вот и воспользуемся этим: подобное внимательное всматривание (тоже своего рода биографический метод) подчас раскрывает больше, чем чтение воспоминаний, писем и документов.

Чехов на снимке – молодой, тридцатилетний, с чем-то «чрезвычайно русским, народным» (Куприн) в чертах или даже южнорусским, хохлацким, еще не ставший *образом русской интеллигентности*, без пенсне, усы и борода едва пробиваются. Кажется, весь он дышит здоровьем, что называется, кровь с молоком, и в нем не угадывается никаких признаков чахотки, уже унесшей в могилу брата Николая. Во всем его облике, позе, в которой он сидит, свешивающихся с колен руках, словно у отдыхающего мастерового, – сознание собственного достоинства, сосредоточенное спокойствие, волевая устремленность и осиянность, как хочется о нем сказать.

Она сразу чувствуется, эта его осиянность: он выглядит крупнее всех остальных, в лице больше света, да и пальто на

нем светлое. Волосы зачесаны назад, лицо открытое, очень красивый разрез глаз. Пожалуй, здесь он ближе всего тому портрету, который набросал в своих воспоминаниях Немирович: «Его можно было назвать скорее красивым. Хороший рост, приятно вьющиеся, заброшенные назад каштановые волосы, небольшая бородка и усы».

Брат Михаил рядом с ним – характер совсем иной. Несомненный позер, судя по выбранному месту в первом ряду, поближе к фотографу, скрещенным, словно у индийского факира, ногам, пенсне на шнурке, котелке и кошке (или собачке?), которую он держит на руках. Держит и якобы гладит, а сам при этом смотрит в объектив: уж очень озабочен тем, каким он получится. И явно соперничает с братом Антоном, стремится превзойти, хотя бы чем-то выделиться, но готов тотчас и умалиться, *стусшеваться* — по словцу Достоевского, на чьих персонажей он так похож.

Чувствуется, что и в смирении, даже самоуничижении он – гордец. Способен на сцену, если есть зрители. Может пригрозить скандалом, но перед настоящим скандалистом спрячется, затаится. Самолюбив, поскольку так же, как и братья Антон и Александр, пишет. Иначе и быть не может, ведь он – Чехов. Фамилию несет как звание. И отставать не должен. Но в писании своем не усидчив, нетерпелив: оно ему быстро наскучивает, и тянет его встать из-за стола, размяться, поломаться перед другими и перед самим собой (может, даже у зеркала), поболтать.

Болтлив, как торговка на рынке. За все хватается, отесняет других, но до конца не доводит. С женщинами впадает в преувеличенный тон, разыгрывает некую величавость, но украдкой способен и ущипнуть, и мяукнуть, козлиным тоненьким голоском запеть (все затыкают уши) или кукарекнуть, и часто стелется мелким бесом.

Умеет посочувствовать, но обожает, чтобы его самого жалели. Многие не принимают Михаила, «сладкого Мишу», Мишеньку всерьез, считают фигляром, шутом гороховым, но близкие знают, что лучше всего ни в чем его не упрекать, не винить, принимать таким, каков есть. Тогда и он делается проще, ведь человек-то по сути добрый и задатки в нем хорошие.

Брат Иван скромн, бережлив, уступчив, себя не выпячивает. Встал в заднем ряду, да и то как-то неловко, боком, не желая привлекать к себе внимание, занимать много места. Антона он искренне любит, чтит, благоговеет перед ним. И главное – старается вникнуть, чем он живет, о чем пишет, что его волнует, радуется, мучит, заставляет страдать. Но спрашивать об этом, допытываться никогда не станет: для этого он слишком застенчив и деликатен. Если же брат сам расскажет, выслушает, не перебивая, не переводя разговор на себя, а затем будет долго вспоминать, обдумывать, пытаться понять.

Мария Павловна, конечно, рядом с Антоном, чуть справа от него, слегка улыбается, но видно, что устала, притоми-

лась, забегалась. Черты лица немного крупны – красавицей ее не назовешь. Видно, что добра, участлива, способна сострадать, хотя характер и не легкий. В одежде все до мелочей продумано, подогнано, аккуратно. Похожа на провинциальную учительницу – учительницей всю жизнь и была.

Словом, такая мизансцена: справа от Антона – сестра, слева – мать. Все расчислено, даже геометрично. И тут же Лика, как незаконная комета. Она устремлена к Чехову, но меж ними – верный страж Мария Павловна. Никого не допустит, своего места рядом с братом не уступит даже подруге. И все же по другой мизансцене Чехова что-то связывает с Ликой. Он если и не устремлен, то склоняется к ней, чувствует ее присутствие, хотя и не смотрит на нее.

Красива ли она, Лика? Не на всех фотографиях это заметно, некоторым даже удивляешься: и это та самая Лика Мизинова? Но на этой, кажется, все же красива, даже несколько демонична (по-врубелевски), хотя больше приходится доверять словесным портретам: «Ее пепельные вьющиеся волосы, чудесные серые глаза под “соболиными” бровями, необычайная женственность и мягкость и неуловимое очарование в соединении с полным отсутствием ломанья и почти суровой простотой – делали ее обаятельной, но она как будто не понимала, как она красива, стыдилась и обижалась, если при ней об этом кто-нибудь из компании Кувшинниковой с бесцеремонностью художников заводил речь. Однако она не могла помешать тому, что на нее оборачивались на улице и

засматривались в театре» (Щепкина-Куперник).

Словом, все же красива. Но главное – имя, и точно так же, как когда-то на нее оборачивались и засматривались, мы теперь, через сто лет, будто замороженные, повторяем, вслушиваясь в его чудесное звучание: Лика Мизинова... Лика Мизинова...

Лика!

Глава шестая

Сундучок

А теперь пусть сойдут с групповой фотографии сестра Чехова Мария Павловна, матушка Евгения Яковлевна, младший брат Михаил и займутся сборами отчаянного путешественника в дорогу.

Сборами ответственными – ничего не упустить, все предусмотреть – и от этого немного суетливыми и заполошными, ведь не в Петербург, не в Ярославль, не в Кострому собирают... Ах, если бы в Петербург, на Невский проспект или Васильевский остров – тогда бы и горя не было, мигом управились бы. А то ведь такой остров, что вот уж поистине горе, горе горькое. Потому и сборы туда долгие, что перед глазами плывет и из рук-то все валится.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.